

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ

БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смысл творчества

Печатается по: Бердяев Н.А., Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х тт. Т. 1. — С. 298—305.

Культура подошла к глубочайшему внутреннему кризису. Все линии культуры доходят до предельных концов и выходят из дифференцированных ценностей. Основная проблема XIX и XX века — проблема отношения творчества (культуры) к жизни (бытию). На вершинах культуры мучит человека противоположность между тем, чтобы создавать что-то, и тем, чтобы быть чем-то. Гении творили, но недостаточно были; святые были, но мало творили. Творчество рождалось из несовершенства и недостатка. Слишком совершенные перестают творить. Есть трагический антагонизм между человеком совершенным как делом Божьего творчества и человеческим совершенным творчеством как делом активности самого человека. Вступите на путь йоги, или православной святости, или толстовства, на путь собственного совершенствования — и вы перестанете творить. Существует двоякая трагедия творчества, двусторонне раскрывающая ту истину, что в мире не было еще религиозной эпохи творчества. Творчество антагонистично, с одной стороны, совершенству человека, с другой — совершенству культуры. Творчество в тисках, оно задавлено взаимовраждебными устремлениями — устремлением к совершенству души и устремлением к совершенству культурной ценности. Творчество не есть самосозидание и самосовершенствование в смысле йоги, христианской святости или толстовства, не есть и созидание культурных ценностей в “науках и искусствах”. Творчество религиозное переходит через жертву и собственным совершенством, и совершенством культуры во имя создания нового бытия, продолжения дела Божьего творения. И бесконечно важно вскрыть тройной антагонизм: антагонизм домостроительства ценностей культуры и домостроительства личного совершенства, антагонизм творчества и культуры и антагонизм творчества и личного совершенства. Лишь творческая религиозная эпоха преодолевает все три антагонизма. Творчество выйдет из тисков личного совершенства и совершенства ценностей культуры. Творчество перейдет к космическому совершенству, в котором претворится в единое — совершенство человека и совершенство его созиданий. Доныне мир знал по преимуществу два пути: созидание собственной души или созидание совершенной культуры. Мировой кризис культуры выведет из этой противоположности. В творческом опыте человек выйдет из физического плана мира и его законов. Человек во всей полноте своей жизни должен претвориться в творческий акт. Но поскольку природа его во грехе, он все еще должен оставаться под законом и в искуплении.

Культура по глубочайшей своей сущности и по религиозному своему смыслу есть великая неудача. Философия и наука есть неудача в творческом познании истины; искусство и литература — неудача в творчестве красоты; семья и половая жизнь — неудача в творчестве любви; мораль и право — неудача в творчестве человеческих отношений; хозяйство и техника — неудача в творческой власти человека над природой. Культура во всех ее проявлениях есть неудача творчества,

есть невозможность достигнуть творческого преображения бытия. Культура кристаллизует человеческие неудачи. Все достижения культуры — символические, а не реалистические. В культуре достигается не познание, а символы познания, не красота, а символы красоты, не любовь, а символы любви, не соединение людей, а символы соединения, не власть над природой, а символы власти. Культура так же символична, как и породивший ее культ. Культ — религиозная неудача, неудача в Богообщении. Культ был лишь символическим выражением последних тайн. Церковь в своих видимых воплощениях имеет культурную природу и разделяет судьбу культуры и все ее трагические неудачи. Культ — религиозный источник культуры и сообщал ей свой символизм. И все великое в культуре было символически-культовым. В культуре есть вечная, мучительная неудовлетворенность. Кризис культуры и есть последняя воля человека к переходу от символически-условных достижений к достижениям реально-абсолютным. Человек возжелал не символов истины, а самой истины, не символов красоты, а самой красоты, не символов любви, а самой любви, не символов силы, а самой силы, не символов Богообщения, а самого Богообщения. Неудача и неудовлетворительность культуры связана с тем, что культура во всем закрепляет плохую бесконечность, никогда не достигает вечности. Культура есть лишь творчество плохой бесконечности, бесконечной срединности. Поэтому культура метафизически буржуазна.

Творчество вечности есть приведение всякой культуры к концу, к пределу, т. е. преодоление плохой бесконечности. А ведь в самой природе науки, философии, морали, искусства, государства, хозяйства и даже внешней церкви скрыта плохая бесконечность, дурная множественность. Кризис культуры и означает невозможность дальнейшего существования культуры плохой бесконечности, буржуазной срединности. Творчество нашей эпохи преодолеет культуру изнутри, не извне. Творческая мировая эпоха может быть лишь сверхкультурной, а не докультурной и не внекультурной, — она принимает положительный религиозный смысл культуры, признаёт великую правду всякой культуры против всякого нигилизма. Культура всегда права против нигилизма и анархии, против дикости и варварства. Сама неудача культуры — священная неудача, и через неудачу эту лежит путь к высшему бытию. Но до претворения культуры в высшее бытие она должна пройти через секуляризацию. Государство, семья, наука, искусство должны стать внецерковны, их нельзя насильственно удерживать в церковной ограде. Да и подлинная церковь не имеет ограды. Обмирщение есть уничтожение лжи и насилия. Мирская культура должна свободно, имманентно прийти к новой религиозной жизни. Нельзя не допускать до Ницше, — нужно пережить и преодолеть Ницше изнутри. Выход из религиозной опеки есть наступление религиозного совершеннолетия, выявление свободной религиозной жизни. В творчестве культуры было прохождение через богооставленность, через расщепление субъекта и объекта. Сама религия была разделением, разрывом с Богом, пафосом дистанции.

Трагедия творчества и кризис культуры с особенной остротой переживаются русским гением. В строе русской души есть противление тому творчеству, которое создает дурно-бесконечную, буржуазно-серединную культуру, есть жажда творчества, которое создает новую жизнь и иной мир. Душа России как бы не хочет создавать культуру через распад субъекта и объекта. В целостном акте хочет

русская душа сохранить целостное тождество субъекта и объекта. На почве дифференцированной культуры Россия может быть лишь второстепенной, малокультурной и малоспособной к культуре страной. Всякий творческий свой порыв привыкла русская душа соподчинять чему-то жизненно-существенному, — то религиозной, то моральной, то общественной правде. Русским не свойствен культ чистых ценностей. У русского художника трудно встретить культ чистой красоты, как у русского философа трудно встретить культ чистой истины. И это во всех направлениях. Русский правдолюбец хочет не меньшего, чем полного преобразования жизни, спасения мира. Это черта расовая. С чертой этой связано самое великое и истинно оригинальное в русской культуре, но она же рождает что-то тяжелое и мрачное в русской жизни. Русская душа берет на себя бремя мировой ответственности, и поэтому не может она творить ценности культуры так, как творит душа латинская или германская. Трагедия творчества и кризис культуры достигли последнего заострения у великих русских писателей: у Гоголя, у Достоевского, у Толстого. Эта трагедия и этот кризис ведомы всякой подлинной русской душе и не позволяют нам жить радостной культурной жизнью. В Западной Европе многие предчувствуют, что будущее принадлежит славянской расе, что она призывает ныне сказать миру свое новое слово, в то время как старые расы Европы уже сказали свое слово. Русский мессианизм может быть признан и западным человеком, чтящим свою великую и священную культуру, и даже признается иными пророчественно настроенными западными людьми. Официальный русский мессианизм, связанный с господствующей церковью и господствующим государством, прогнил и разложился. Но жив иной мессианизм, связанный с русскими странниками и искателями Града Божьего и правды Божьей. Россия во всем и всегда — страна великих контрастов и полярных противоположностей. Низость и холопство духа и головокружительные высоты! Россия — менее всего страна средних состояний, средней культурности. У нас всегда и во всем средний уровень очень низок. В строгом европейском смысле слова в России почти что и нет культуры, нет культурной среды и культурной традиции. В низах своих Россия полна дикости и варварства, она в состоянии докультурном, в ней первобытный хаос шевелится. Эта восточная, татарская некультурность и дикая хаотичность — великая опасность для России и ее будущего. Но на вершинах своих Россия сверхкультурна: там заостряется мировой кризис культуры. Великая и утонченная культура Запада не знает того, что знает Россия. Наше национальное самосознание все еще смутно и хаотично, и поэтому не всегда оно отличает сверхкультурную правду России от докультурного хаоса России. Историческая задача русского самосознания — различить и разделить русскую сверхкультурность и русскую докультурность, логос кризиса культуры на русских вершинах и дикий хаос в русских низах. Славянофильское сознание еще смешивало логос с хаосом, сверхкультурность с докультурностью, и реставрация славянофильского сознания невозможна и нежеланна. В славянофильской философии есть прекраснодушие, возможное лишь до кризиса культуры: славянофильское сознание не дошло еще до острого сознания трагедии познания. Исторически в России неизбежен не только мировой кризис культуры, но неизбежно и послушание мировой культуре. Ибо в России легче всего восстание против буржуазной культуры принимает форму нигилизма и анархии. Но на почве

буржуазной культуры Россия никогда не будет талантлива. Ее гениальность в ином. Россия не может остаться только Востоком и не должна сделаться только Западом. Миссия России быть Востоко-Западом, соединительницей двух миров. И Россия призвана с последней остротой поставить конечную проблему отношения религиозного сознания к творчеству и культуре. На Западе огромность и утонченность его культуры затемняет постановку этой проблемы. Но на Западе совершается кризис творчества и кризис культуры. Запад подавлен величием своей старинной культуры. Труден для западного человека свободный полет. Западный человек вечно обращается к Богатствам и ценностям своего великого прошлого, и новые его искания легко принимают форму реставрации и воскрешения прошлого. В католических течениях во Франции, во французском символизме было новое, творческое искание. Но французские католики и французские символисты были задавлены великой и огромной старой культурой и романтически обращены были к ее реставрации и воскрешению. Благородство старой культуры они справедливо противопоставляли духу современной буржуазной культуры. Они хотели вернуться от мещанства к рыцарству. Но последнее утончение великой и старой культуры сделало их творчески бессильными. Вечно возвращающаяся романтика Запада несет на себе печать творческого бессилия. А судорожный отрыв рождает уродство футуризма. Русский человек даже высокой культуры безмерно свободнее в своих исканиях и сильнее в своих творческих порывах.

Западная культура по истокам своим прежде всего культура католическая и латинская (Вяч. Иванов хорошо говорит: “Нет в Европе другой культуры, кроме эллинской, подчинившей себе латинство и доныне живой в латинстве, — пускающей все новые побеги из ветвей трехтысячелетнего, дряхлеющего, но живучего ствола. Коренится она в крови и языке латинских племен: чужими ей по крови и языку германством и славянством никогда не могла она овладеть до полного уподобления, до перерождения органических тканей души народной” (“По звездам”. — С. 233). “В лоне латинства все кажется непрерывным возрождением древности, ибо органически живет там сама древность, и постоянный приток варварских влияний непрестанно уравнивается силами, бьющими из родных неоскудевающих недр”. (С.234). В латинско-католической культуре, самой старой и самой утонченной, сохранилась преемственная связь с античностью — вечным истоком всякой человеческой культуры. На этой культуре видны знаки священного ее происхождения из культа. Латинская раса, романские народы — культурны по крови. Ибо то лишь есть культура, что кровно связано с миром греко-римским, с античными истоками и с церковью западной или восточной, получившей преемство от античной культуры. В строгом смысле слова никакой другой культуры, кроме греко-римской, и быть не может. Культура православно-католическая получает преемство от греко-римской. Выступление германской расы на арену европейской истории было вторжением потока северной варварской крови в культурную латинскую кровь Запада. Германская раса — варварская, не имеющая кровной преемственной культурной связи с античным миром. Индивидуализм германской реформации был варварским индивидуализмом, в отличие от культурного индивидуализма итальянского Возрождения. Лютер и Кант — великие варвары. Критицизм германской мысли — продукт варварства, не желающего знать кровной, органической, сверхличной

преемственности всякой культуры и всякой мысли. В самих истинах германской культуры протестантизм отверг не только священное предание церкви, но и священное предание культуры. Германский индивидуализм и германский критицизм порывает со всяким преданием, начинает с варварского бунта против предания, а всякая культура покоится на предании. Варварское, честное и гениальное дерзновение германского духа было освобождающим и углубляющим для европейской культуры с ее застоявшейся латинской кровью. Внесение большей духовности в культуру по преимуществу душевно-телесную было миссией германизма. Не связанная путами, варварская германская мысль создает глубокие формы религиозного и философского критицизма, в которых объективный мир воссоздается из погружения в субъект, в глубины духа. Но естественная солнечность и ясность латинской мысли совершенно чужда туманной мысли германской. Германизм — метафизический север, германская культура создается в бессолнечной тьме. Сама гениальная философичность германцев родилась от разрыва с солнечностью, а не от соединения с естественным источником света. Великая и чистая, но варварская германская культура остается по преимуществу культурой отвлеченной духовности, чуждой всему пластическому, воплощенному, конкретному. Германская раса и христианство приняла лишь как религию чистой духовности, без религиозной пластики и религиозного предания. Религиозной миссией германизма было бороться против неправды вырождения христианства в душевно-телесном плане, против гниения католичества, односторонне выдвигая начало чистой духовности в религиозной жизни. Понять величие и своеобразие германизма можно через бездонно глубокую мистику Экхарта. Германский дух чужд духу античности и странным образом родствен духу Индии: тот же идеализм, та же духовность, та же отчужденность от конкретной плоти бытия, то же признание индивидуальности греховным отпадением. Германизм хочет быть чистым арийством и не приемлет семитической религиозной прививки. (Германское национальное сознание и германский мессианизм можно встретить сейчас у Дрекса, который хочет раскрыть германскую религию, и у Чемберлена.) Германский дух пытается из собственных глубин воссоздать бытие, в исходе не принятое как реальность. В германской культуре есть варварская глубина и своеобразная чистота (честность и верность), но нет утонченности и изящества. Даже у величайшего из великих немцев — у Гете — есть безвкушие и грубоватость. Утонченность и изящество есть исключительное достояние культуры французской. Но ведь утонченность и изящество и есть культурность по преимуществу. Германский дух создает что-то великое, но не культурное в строгом смысле слова. И недаром Ницше говорил, что культуры в Германии нет, а есть лишь во Франции. Германский дух лишь критически мыслит о культуре, остро ставит в сознании проблему культуры, но культуры не имеет. Культура не может быть критической и индивидуалистической, — она всегда органическая и соборная. Германская раса, конечно, имеет великую и провиденциальную миссию в западном мире. Велика и провиденциальна миссия германской мистики, германской музыки, германской философии. Но миссия эта не заключается в создании наиболее <...> общеобязательных норм всякой культуры, как хотят уверить германские культуртрегеры. Можно и должно многому учиться у германской философии и мистики, но подражать германской культуре невозможно.

Последнего утончения достигла всемирная латинская культура, культура по преимуществу, — она подошла к бездне. В германской культуре еще слишком много варварского и бюргерского здоровья, и она хочет задержать на середине пути, на гетекантовской срединности. Культура отвлеченной духовности лишена чувства конца, предела. Германский дух — наименее апокалиптический дух. Ницше не от германского духа, в нем много славянского, и воспитан он на французской культуре. Германская философия делает великое мировое дело, она служит разрешению мирового кризиса культуры, но косвенно и от противного. И великая германская мистика, которая была новым словом, сказанным миру германской расой, будет, конечно, последним вкладом германцев в дело разрешения мировой истории. В мистике германцев есть вечная истина, но она не может быть единственным и всеобщим источником как нормальной культуры, так и выхода в сверхкультуру (значение Экхарта и особенно Беме — всемирное). Существуют еще истоки древнееврейский и древнегреческий, их дух конкретности и воплощенности. Мистика славянская — по преимуществу апокалиптическая, связанная с временами и сроками всемирной истории, с конкретным воплощением, с эсхатологией. Славянская культура в обыденном смысле этого слова гораздо ниже культуры германской. Но славянская раса приняла в свою плоть и кровь преимущество культуры греческой и византийской. Славянская раса по историческому своему положению антагонистична расе германской. Она может у нее учиться, но не может ей подражать и с ней сливаться. Нам роднее раса латинская, столь непохожая на нас, столь мало поучающая нас, но не грозящая поглотить нас. Подчинение культуре германской расы задерживает славянскую расу в осуществлении ее сверхкультурных, апокалиптических задач.

БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Печатается по: Бердяев Н.А. Философия неравенства.—

М.: Има — пресс, 1990.— С. 249—261.

В жизни общественной духовный примат принадлежит культуре. Не в политике и не в экономике, а в культуре осуществляются цели общества. И высоким качественным уровнем культуры измеряется ценность и качество общественности. Давно уже происходящая в мире демократическая революция не оправдывает себя высокой ценностью и высоким качеством той культуры, которую она несет с собой в мир. От демократизации культура повсюду понижается в своем качестве и в своей ценности. Она делается более дешевой, более доступной, более широко развитой, более полезной и комфортабельной, но и более плоской, пониженной в своем качестве, некрасивой, лишенной стиля. Культура переходит в цивилизацию. Демократизация неизбежно ведет к цивилизации. Высшие подъемы культуры принадлежат прошлому, а не нашему буржуазно-демократическому веку, который более всего заинтересован уравнительным процессом. В этом плебейском веке натуры творческие и утонченно культурные чувствуют себя более одинокими и непризнанными, чем во все предшествующие века. Никогда еще не было такого острого конфликта между избранным меньшинством и большинством, между вершинами культуры и средним ее уровнем, как в наш буржуазно-демократический век. Ибо в прежние века конфликт этот ослаблялся более органическим складом

культуры. Но в культуре, утерявшей “органичность”, отступившей от иерархического своего строения, культуре, по своему строению “критической”, этот конфликт становится невыносимо мучительным. Он вызывает невыразимую печаль лучших людей нашей эпохи. Вам, людям демократического духа, незнакома эта печаль и непонятно это зловещее чувство одиночества в современной культуре. Для вас культура лишь средство вашей политики и экономики, лишь орудие благоденствия, лишь культура для народа.

Вы не в силах преодолеть своего исконного утилитаризма. И сколько бы вы ни пробовали украшать себя культурой, слишком видно и ясно, что никаких ценностей культуры для вас не существует. Вам нужна цивилизация как орудие вашего земного царства, но культура вам не нужна.

Культура и цивилизация — не одно и то же. Культура родилась из культа. Истоки ее — сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура — благородного происхождения. Ей передан иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же и природа культа, который есть прообраз осуществленных божественных тайн. Цивилизация не имеет такого благородного происхождения. Цивилизация всегда имеет вид *ragueneu*. В ней нет связи с символикой культа. Ее происхождение мирское. Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. Культура всегда идет сверху вниз, путь ее аристократический. Цивилизация идет снизу вверх, путь ее буржуазный и демократический. Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации имеет общие признаки у всех народов, и признаки по преимуществу материальные, как, например, употребление железа и т. п. Культура же древних народов на самых начальных ступенях своих очень своеобразна и неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавилона, Греции и т. п. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудие.

ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД

Печатается по: Идеи к философии истории человечества М.: Наука, 1977.-С. 37, 124, 131, 230, 607.

В царстве людей царит величайшее многообразие склонностей и задатков; нередко мы поражаемся им, видим в них нечто чудесное или противоестественное, но мы не понимаем их. А поскольку и эти склонности и задатки не лишены своих органических оснований, то возможно, — если только допустимо строить предположения относительно этой скрытой мраком мастерской, в которой природа выковывает свои формы, — рассматривать человеческий род как великое слияние

низших органических сил, которые должны достигнуть в облике человеческом гуманной культуры.

Но что же дальше? Человек был на Земле образом Бога, наделен был самым сложным и тонким органическим строением, какое только может быть на Земле, — так что же, теперь идти ему назад и превращаться в камень, в растение, в слона? Или колесо творения остановилось и уже не приводит в движение других колес? Последнее немыслимо, потому что в царстве верховного блага и мудрости все связано между собой и сила воздействует на силу во всеобщей взаимосвязанности целого. Бросим же взгляд назад и посмотрим, как позади нас все постепенно созревает, подготавливая человеческий облик, и как в нас самих обретаются лишь самые первые задатки и бутоны будущего человеческого предназначения, для которого целенаправленно воспитывает нас творец; если все это так, то или вся целенаправленность, вся взаимосвязь природы — просто сон, или же и человек тоже идет вперед (какими путями — вопрос другой). Давайте же посмотрим, как укажет нам этот путь вперед вся в целом природа человека?

Цель нашего земного существования заключается в воспитании гуманности, а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны вести к ней. Все нужно воспитывать: разумная способность должна стать разумом, тонкие чувства — искусством, влечения — благородной свободой и красотой, побудительные силы — человеколюбием...

Человек воспитывается только путем подражания и упражнения: прообраз переходит в отображение, лучше всего назвать этот переход преданием, или традицией. Но нужно, чтобы у человека, подражающего своему прообразу, были силы, чтобы он воспринимал все, что сообщают, что передают ему, что возможно сообщить и передать ему, чтобы он усваивал и преобразовывал в свое существо все это сообщенное. Итак, что, сколько он воспримет, как и что усвоит, применит и употребит, — все это зависит только от присущих человеку сил, а в таком случае воспитание человеческого рода — это процесс и генетический, органический; процесс генетический — благодаря передаче традиций, процесс органический — благодаря усвоению и применению переданного. Мы можем как угодно назвать этот генезис человека во втором смысле, мы можем назвать его культурой, то есть возделыванием почвы (согласно этимологии латинского слова), а можем вспомнить образ света и назвать просвещением, тогда цепь культуры и просвещения протянется до самых краев земли. Калифорниец и обитатель Огненной Земли научились делать лук и стрелы, — у них есть язык, есть понятия, они знают искусства и упражняются в них, но тогда это уже культурный и просвещенный народ, хотя и стоящий на самой низкой ступеньке культуры и просвещения. Различие между народами просвещенными и непросвещенными, культурными и некультурными — не качественное, а только количественное. На общей картине народов мы видим бесчисленные оттенки, цвета меняются с местом и временем, — итак, здесь все дело в том, с какой точки зрения смотреть на изображенные на картине фигуры. Если мы примем за основу понятие европейской культуры, то, конечно, найдем ее только в Европе; а если мы проведем искусственные различия между культурой и просвещением, хотя ни культура, ни просвещение не существуют по отдельности, то мы еще более удалимся в страну фантазий. Но мы останемся на земле и посмотрим,

посмотрим сначала в целом и общем, что за воспитание человека являет нам сама природа, которой ведь лучше всего должны быть известны характер и предназначение созданного ею существа, — и вот оказывается, что такое воспитание есть традиция воспитания человека для одной из форм человеческого счастья и образа жизни. Где существует человек, там существует и традиция, бывает и так, что среди дикарей традиция действеннее всего заявляет о себе, хотя она и относится к узкому, ограниченному кругу. Если человек живет среди людей, то он уже не может отрешиться от культуры, — культура придает ему форму или, напротив, уродует его, традиция захватывает его и формирует его голову и формирует члены его тела. Какова культура, насколько податлив материал, от этого зависит, каким станет человек, какой облик примет он. Дети, оказавшись среди животных, приносили к ним человеческую культуру, если прежде жили с людьми, — об этом свидетельствует большинство примеров; но если ребенка с момента его рождения отдать на воспитание волчице, то он останется единственным на Земле человеком, совершенно лишенным культуры.

Какими путями пришла Европа к культуре, как обрела она то достоинство, каким отмечена перед всеми другими народами? 1. Если бы Европа была богата, как Индия, если бы материк Европы был однообразным, как Татария, жарким, как Африка, замкнутым, как Америка, то не было бы ничего из того, что выросло и сложилось в Европе. Даже погруженной в глубокое варварство Европе географическое положение не позволило вновь добыть свет знания; но более всего полезны были ей реки и моря. Пусть не будет Днепра, Дона и Двины, Черного, Средиземного, Адриатического морей, Атлантического океана, морей Северного и Восточного с их берегами, островами, реками — и вот уже нет почвы для того великого торгового союза, который привел в движение Европу и приучил ее к прилежному труду. Две огромные и богатые части света, Азия и Африка, окружали свою бедную и неприметную рядом с ними сестру Европу, с самого края света, из областей древнейшей культуры они слали сюда товары и изобретения и этим возбуждали жар трудолюбия, дар изобретательства. Европейский климат, остатки Древнего Рима и Греции только способствовали всему, и так получается, что все величие Европы покоится на фундаменте знания, неутомимой деятельности, изобретательности, на всеобщем солидарном старании и соревновании.

2. Гнет римской иерархии, быть может, был необходимым ярмом — цепями, сковывавшими грубые народы средневековья; не будь ее, и Европа, вероятно, стала бы добычей деспотов, ареной вечных раздоров, если не монгольской пустыней. Поэтому римская иерархия заслуживает похвалы — она послужила противовесом, но если бы действовала всегда и постоянно только эта сила, только эта пружина, Европа превратилась бы в церковное государство по тибетскому образцу. Но действие и противодействие вызвали такое следствие, о котором не подумала ни одна из сторон; нужда, опасности, потребности вызвали к жизни третье сословие — проросли его между двумя первыми, и этому новому сословию суждено было стать животворной кровью всего огромного деятельного организма, а иначе организм распался и разложился бы. Это — сословие, на котором держится наука, полезный труд, старание и соревнование; благодаря этому сословию эпоха, когда рыцарство и поповство были жизненно необходимыми сословиями, медленно, но верно подошла к концу.

3. И какой могла быть новая культура Европы, тоже явствует из предыдущего. Она могла стать только культурой людей, какими они были и какими желали стать, культурой, порождаемой деловитостью, науками, искусствами. Кто презирал труд, науку, искусство, кто не испытывал в них потребности, кто извращал и искажал их, оставался тем, кем был прежде; чтобы культура равномерно и всеохватно пронизывала и воспитание, и законы, и жизненный уклад всех стран — всех сословий и народов, — об этом в средние века еще нельзя было и подумать, а когда же придет пора думать об этом? Между тем разум человеческий, умноженная солидарная деятельность людей неуклонно идут вперед и видят в этом добрый знак, если даже лучшие плоды и не созревают до времени.

ГЕГЕЛЬ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ

Печатается по: Гегель Г. В. Ф. Философия духа/ Энциклопедия философских наук. Т. 3.— С. 365 — 366; 368.

Принципом европейского духа являются поэтому разум, достигший своего самосознания, в такой мере доверяющий самому себе, что он уже не допускает, чтобы что-либо было для него непреодолимым пределом, и который поэтому посягает на все, чтобы во всем обнаружить свое присутствие. Европейский дух противопоставляет себе мир, освобождается от него, но снова снимает эту противоположность, возвращает обратно в себя, в свою простоту, свое другое, многообразное. Здесь господствует поэтому бесконечное стремление к знанию, чуждое другим расам. Европейца интересует мир, он стремится познать его, усвоить себе противостоящее ему другое, во всех частных явлениях мира созерцать род, закон, всеобщее, мысль, внутреннюю разумность. Совершенно так же, как и в теоретической области, европейский дух стремится и в сфере практической установить единство между собой и внешним миром. Внешний мир он подчиняет своим целям с такой энергией, которая обеспечила ему господство над этим миром. Индивидуум исходит здесь в своих частных действиях из твердо установленных всеобщих принципов. Государство представляет собой в Европе в большей или меньшей мере отнятое у произвола деспота развитие и осуществление свободы посредством разумных учреждений.

...Определенный дух народа, поскольку он есть нечто действительное и его свобода существует как природа, содержит с этой природной стороны момент географической и климатической определенности; он существует во времени и по содержанию существенно обладает особым принципом и должен пройти определенное этими условиями развитие своего сознания и своей действительности, он имеет историю в пределах самого себя. Поскольку он есть ограниченный дух, его самостоятельность есть нечто подчиненное; он входит во всемирную историю, события которой являют собой диалектику отдельных народных духов — всемирный суд.

Это движение есть путь освобождения духовной субстанции — деяние, посредством которого абсолютная цель мира осуществляется в ней. Дух, первоначально существующий только в себе, приводит себя к сознанию и самосознанию и тем самым к раскрытию и действительности своей в-себе-и-для-себя-сущей сущности, становясь в то же время и внешне всеобщим — мировым духом.

Поскольку это развитие существует во времени и в наличном бытии, тем самым представляя собой историю, поскольку ее единичные моменты и ступени суть духи отдельных народов. Каждый такой дух как единичный и природный в некоторой качественной определенности имеет своим назначением заполнение только одной ступени и осуществление только одной стороны всего деяния в целом.

... Народ без государственного устройства (нация как таковая) не имеет, собственно, никакой истории, подобно народам, существовавшим еще до образования государства, и тем, которые еще и поныне существуют в качестве диких наций. То, что происходит с народом и совершается в его недрах, имеет существенное значение и по отношению к государству; частные дела индивидуумов всего более удалены от упомянутого предмета, составляющего предмет истории. Если в характере выдающихся индивидуумов известного периода выражается общий дух времени и даже частные особенности их служат отдаленными и смутными посредствующими моментами, в которых этот дух все еще отражается в более бледных красках, — если нередко даже мелкие особенности какого-нибудь незначительного события или слова выражают не субъективную особенность, а, напротив, с бьющей в глаза очевидностью и краткостью выражают собой время, народ, культуру (причем выбрать подобного рода характерные подробности является уже делом проницательности историка), то множество всякого рода других подробностей, напротив, являет собой совершенно излишнюю массу, тщательным накоплением которой предметы, достойные истории, только подавляются и затемняются; существенная характеристика духа и его времени заключается всегда в великих событиях.

ШОПЕНГАУЭР АРТУР

Печатается по: Мир философии. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. — М.: Политиздат, 1991.—С. 324—326.

Из какого же рода познание рассматривает то, что существует вне и независимо от всяких отношений, единственную действительную сущность мира, истинное содержание его явлений, не подверженное никакому изменению и поэтому во все времена познаваемое с одинаковой истинностью, — словом, идеи, которые представляют собой непосредственную и адекватную объективность вещи в себе, воли? Это — искусство, создание гения. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием вечные идеи, существенное и постоянное во всех явлениях мира, и, смотря по тому, каков материал, в котором оно их воспроизводит, оно — изобразительное искусство, поэзия или музыка. Его единственный источник — познание идей; его единственная цель — передать это познание. В то время как наука следуя за непрерывным и изменчивым потоком четверояких оснований и следствий, после каждой достигнутой цели направляется все дальше и дальше и никогда не может обрести конечной цели, полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, — искусство, напротив, всегда находится у цели. Ибо оно вырывает объект своего созерцания из мирового потока и ставит его изолированно перед собой: и это отдельное явление, которое в жизненном потоке было исчезающей малой частицей, делается для искусства представителем целого, эквивалентом бесконечно многого в пространстве и времени; оттого искусство и

останавливается на этой частности: оно задерживает колесо времени, отношения исчезают перед ним, только существенное, идея — вот его объект...

Идеи постигаются только путем описанного выше чистого созерцания, которое совершенно растворяется в объекте, и сущность гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию; и так как последнее требует совершенного забвения собственной личности и ее интересов, то гениальность не что иное, как полная объективность, т. е. объективное направление духа в противоположность субъективному, которое обращено к собственной личности, т. е. воле. Поэтому гениальность — это способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и освобождать познание, сначала существующее только для служения воле, — освобождать его от этой службы, т. е. совершенно упускать из виду свои интересы, свои желания и цели, на время вполне совлекать себя свою личность, для того чтобы остаться только чистым познающим субъектом, светлым оком мира, и это не на мгновения, а с таким постоянством и с такой обдуманностью, какие необходимы, чтобы постигнутое воспроизвести сознательным искусством, и “то, что предносится в зыбком явлении, в устойчивой мысли навек закрепить”.

Обыкновенный человек, этот фабричный товар природы, какой она ежедневно производит тысячами, как я уже сказал, совершенно не способен, по крайней мере на продолжительное и в полном смысле незаинтересованное наблюдение, что составляет истинную созерцательность: оно может направить свое внимание на вещи лишь постольку, поскольку они имеют какое-нибудь, хотя бы и очень косвенное, отношение к его воле. Так как для этого требуется только познание отношений и достаточно абстрактного понятия вещи (а по большей части оно даже пригоднее всего), то обыкновенный человек не останавливается долго на чистом созерцании, не пригвождает надолго своего взора к одному предмету, а для всего, что ему встречается, ищет поскорее понятия, под которое можно было бы это подвести, как ленивый ищет стула, и затем предмет его уже больше не интересует. Вот почему он так скоро исчерпывает все: произведения искусства, прекрасные создания природы и везде много значительное зрелище жизни во всех ее сценах. Но ему некогда останавливаться: только своей дороги в жизни ищет он, в крайнем случае еще и всего того, что может когда-нибудь сделаться его дорогой, т. е. топографических заметок в широком смысле этого слова; на созерцание же самой жизни, как таковой, он не теряет времени. Наоборот, гений, чья познавательная сила в своем избытке на некоторое время освобождается от служения его воле, останавливается на созерцании самой жизни, стремится в каждой вещи постигнуть ее идею, а не ее отношения к другим вещам: вот почему он часто не обращает внимания на свой жизненный путь и потому в большинстве случаев проходит его довольно неискусно.

Понятие отвлеченно, дискурсивно, внутри своей сферы совершенно неопределенно, определено только в своих границах, доступно и понятно для каждого, кто только обладает разумом, может быть передаваемо словами без дальнейшего посредничества, вполне исчерпывается своим определением. Напротив, идея, которую можно, пожалуй, определить как адекватную представительницу понятий, всецело наглядна и, хотя заступает место бесконечного множества отдельных вещей, безусловно определена: никогда не познается она индивидуумом, как таковым, а только тем, кто над всяким хотением и всякой индивидуальностью

поднялся до чистого субъекта познания: таким образом, она доступна только гению и затем тому, кто в подъеме своей чистой познавательной силы, вызываемой большей частью созданиями гения, сам обрел гениальное настроение духа; поэтому она передаваема не всецело, а лишь условно, ибо постигнутая и в художественном творении воспроизведенная идея действует на каждого только в соответствии с его собственным интеллектуальным достоинством — вот отчего именно самые прекрасные творения каждого искусства, благороднейшие создания гения для тупого большинства людей навеки остаются книгой за семью печатями и недоступны для него, отделенного от них глубокой пропастью, как недоступно для черни общение с королями.

ШПЕНГЛЕР ОСВАЛЬД

Печатается по: Закат Европы. – Новосибирск, 1993.— С. 34—35, 460—478.

Падение Запада является, подобно аналогично ему падению античного мира, отдельным феноменом, ограниченном во времени и пространстве, но вместе с тем это философская тема, заключающая в себе. если ее оценить по достоинству, все великие вопросы бытия.

Чтобы уяснить себе, в каких образах протекает угасание западной культуры, необходимо сперва исследовать, что такое культура, в каких отношениях она находится к видимой истории, к жизни, к душе, к природе и к духу, в каких формах она обнаруживается и насколько эти формы — народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и Боги, искусства и произведения искусства, науки, права, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события — сами являются символами, как таковые, подлежат толкованию.

Под этим углом зрения падение западного мира представляет собой ни более ни менее как проблему цивилизации. В этом заключен один из основных вопросов истории. Что такое цивилизация, понимаемая как логическое следствие, завершение и исход культуры?

Потому что у каждой культуры своя собственная цивилизация. В первый раз эти два слова, обозначавшие до сих пор смутное этическое различие личного характера, рассматриваются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необходимой органической последовательности фактов. Цивилизация есть неизбежная судьба культуры. Здесь мы достигаем того пункта, с которого становятся разрешимыми последние и труднейшие вопросы исторической морфологии. Цивилизация — это те самые крайние и искусственные состояния, осуществить которые способен высший вид людей. Они — завершение, они следуют как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за деревней и задушевым детством, являемым нам дорикой и готикой. Они — неизбежный конец, и, тем не менее, с внутренней необходимостью к ним всегда приходили.

Таким только образом мы поймем римлян, как наследников эллинов. Таким только образом на позднюю античность проливается свет, освещающий все ее глубочайшие тайны. Какое же другое значение может иметь то обстоятельство — спор против которого есть пустое словопрение, — что римляне были варварами,

варварами, не предшествовавшими расцвету, а следовавшими за ним. Бездушные, чуждые философии и искусства, наделенные животными инстинктами, доходящими до полной грубости, ценящие одни материальные успехи, они стоят между эллинской культурой и пустотой. Их воображение, направленное только на практическое, — у них существовало сакральное право, регулировавшее отношения между Богами и людьми, словно между частными лицами, но у них не было даже и следа мифа — представляет собою такое душевное качество, которое совершенно не наблюдается в Афинах. Перед нами греческая душа и римский интеллект.

Так отличается культура от цивилизации. И так обстоит дело не в одной только античности. Все снова и снова появляется этот тип — сильных духом, но совершенно неметафизических людей. В их руках находится духовная и материальная участь каждой поздней эпохи. Они были осуществителями вавилонского, египетского, индийского, китайского, римского империализма. В такие периоды буддизм, стоицизм, социализм созревают до степени окончательных мировоззрений, способных еще раз захватить и преобразовать угасающее человечество во всей его сущности. Чистая цивилизация, как исторический процесс, представляет собой постепенную выработку (уступами, как в копиях) ставших неорганическими и отмерших форм.

Переход от культуры к цивилизации протекает в античности в IV столетии, на Западе — XIX. С этого момента ареной больших духовных решений становится не “вся страна”, как это было во время орфического движения и реформации, когда, собственно, каждая деревня играла свою роль, а три или четыре мировых города, которые всосали в себя все содержание истории и по отношению к которым вся остальная страна культуры нисходит на положение провинции, имеющей своим исключительным назначением питать эти мировые города остатками своего высшего человеческого материала. Мировой город и провинция — этими основными понятиями всякой цивилизации открывается совершенно новая проблема формы истории, которую мы сейчас переживаем, не имея вместе с тем никакого представления о значении этой проблемы. Вместо мира — город, одна точка, в которой сосредоточивается вся жизнь обширных стран, в то время как все остальное увядает; вместо богатого формами, сросшегося с землей народа новый кочевник, паразит, житель большого города, человек абсолютно лишенный традиций, растворяющийся в бесформенной массе, человек фактов, без религии, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокого отвращения к крестьянству (и к его высшей форме — провинциальному дворянству), следовательно, огромный шаг к неорганическому, к концу, — что значит все это? Франция и Англия уже сделали этот шаг, Германия готовится его сделать. Вслед за Сиракузами, Афинами, Александрией следует Рим. Вслед за Мадридом, Парижем, Лондоном следует Берлин. Стать провинциями — такова судьба целых стран, которые не входят в круг излучения этих городов, как некогда это было с Критом и Македонией.

Когда Ницше в первый раз написал свое слово о “переоценке всех ценностей”, духовное движение столетий, среди которых мы живем, нашло, наконец, свою формулу. Переоценка всех ценностей — таков внутренний характер всякой цивилизации. Она начинается с того, что переделывает все формы предшествовавшей культуры, иначе понимает их, иначе ими пользуется. Она ничего не создает, она

только перетолковывает. В этом — негативная сторона всех эпох подобного рода. Они не предполагают предшествующий подлинный творческий акт. Они только вступают во владение наследством больших действительностей. Обратимся к позднему античному миру и попытаемся найти, где находится в нем соответствующее событие: очевидно оно имело место внутри эллинистическо-римского стоицизма и в процессе долгой смертельной борьбы аполлоновской души. Вернемся от Эпиктета и Марка Аврелия к Сократу, духовному отцу стои, в котором впервые обнаружилось обеднение античной жизни, ставшей интеллектуальной и принявшей характер больших городов: между ними лежит переоценка всех античных идеалов бытия. Посмотрим на Индию. В эпоху царя Асоки, жившего за 300 лет до Р.Х., переоценка брахманской жизни была закончена; сравним части “Веданты”, написанные до и после Будды. А у нас? Внутри этического социализма, являющегося в установленном нами смысле основным настроением угасающей фаустовской души, самый процесс этой переоценки — в полном ходу. Руссо — родоначальник этого социализма. Руссо стоит около Сократа и Будды, этих двух других этических провозвестников больших цивилизаций. Его отрицание всех больших культурных форм, всех исполненных значения преданий, его знаменитое “возвращение к природе”, его практический рационализм не допускают никакого сомнения. Каждый из них проводил в могилу тысячелетие внутренних достижений. Они проповедуют евангелие гуманности, но это — гуманность интеллигентного городского обитателя, которому приелся город, а с ним вместе и культура, чистый ”рассудок” которого ищет освобождения от этой культуры и от ее властных форм, от ее суровостей, от ее символизма, который теперь уже внутренне не переживается и поэтому делается ненавистным. Культура уничтожается диалектически. Если мы проследим великие имена XIX в., с которыми для нас связан этот могучий феномен Шопенгауэр, Хеббель, Вагнер, Ницше, Ибсен, Стриндберг, то перед нашим взором встает то, что Ницше называл по имени в фрагментарном предисловии к своему неоконченному основному произведению, а именно: “Восхождение нигилизма”. Оно не чуждо ни одной из больших культур. Оно с внутренней неизбежностью свойственно дряхлому возрасту этих могучих организмов. Сократ и Будда оба были нигилистами. Есть декаданс египетский, арабский, китайский, точно так же как и западноевропейский. Здесь дело не в собственно политических и экономических, даже не в религиозных или художественных изменениях. Вообще здесь говорить не об осязаемом, не о материальных фактах, а о сущности души, осуществившей все свои возможности без остатка. Пусть нам не приводят в качестве доказательств обратного великие достижения эллинизма и западноевропейской современности. Система хозяйства, основанная на рабовладении, и машинное производство, “прогресс” и атараксия, александринизм и современная наука, Пергам и Байрейт, социальные условия, являющиеся предпосылкой для политики Аристотеля и “Капитала” Маркса, суть только симптомы внешней картины истории. Мы говорим не о внешней жизни, не о жизненном укладе, не об учреждениях и обычаях, а о глубине, о внутренней смерти. Для античного мира она наступила в римскую эпоху, для нас наступит около 2000 г.

Культура и цивилизация — это живое тело души и ее мумия. В этом различие западноевропейской жизни до 1800 и после 1800 г., жизни в избытке и самоочевидности, чей образ изнутри вырос и возник, притом в одном мощном порыве

от детских дней готики вплоть до Гете и Наполеона, и той поздней, искусственной, лишенной корней жизни наших больших городов, формы которой строятся интеллектом. Культура и цивилизация — это рожденный почвой организм и образовавшийся из первого при его застывании механизм. Здесь опять различие между становлением и ставшим, душой и мозгом, этикой и логикой, наконец, между почувствованной историей — выражающейся в глубоком уважении к установлениям и традициям, — и познанной природой, т. е. мнимой природой, чистой, всех равняющей, освобождающей от очарования большой формы, той природой, к которой хотят вернуться Будда, отрицающий историческое различие между брамином и чандала, стоики, отрицающие различие между эллином, рабом и варваром, Руссо — между привилегированным и крепостным. Культурный человек живет, углубляясь внутрь, цивилизованный живет, обращаясь во внешнее, в пространстве, среди тел и “фактов”. Что один воспринимает как судьбу, другому кажется соотношением причины и действия. Отныне всякий становится материалистом в особенном, только цивилизации свойственном, смысле, независимо от того, хочет ли он этого или нет, независимо от того, выдают ли себе буддийское, стоическое, социалистическое учения за идеалистические или нет.

...Итак, каждая культура имеет свой особый род смерти, вытекающий с глубокой неизбежностью из всего ее существования.

ФРЕЙД ЗИГМУНД

Печатается по: Будущее одной иллюзии/Антология мировой философии: в 4-х тт. Т.3.— М., 1971 С. 578-581.

Человеческая культура — я имею в виду все то, в чем человеческая жизнь возвысилась над своими биологическими обстоятельствами и чем она отличается от жизни животных, причем я пренебрегаю различием между культурой и цивилизацией, — обнаруживает перед наблюдателем, как известно, две стороны. Она охватывает, во-первых, все накопленные людьми знания и умения, позволяющие им овладеть силами природы и взять у нее блага для удовлетворения человеческих потребностей, а во-вторых, все институты, необходимые для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно — для дележа добываемых благ. Оба эти направления культуры связаны между собой, во-первых, поскольку на взаимоотношения людей оказывает глубокое влияние мера удовлетворения влечений, дозволяемая наличными благами, во-вторых, поскольку отдельный человек сам может вступать в отношения с другим по поводу того или иного блага, когда другой использует его рабочую силу или делает его сексуальным объектом, а в-третьих, поскольку каждый отдельный индивид виртуально является врагом культуры, которая тем не менее должна оставаться делом всего человеческого коллектива. Примечательно, что, как бы мало ни были способны люди к изолированному существованию, они тем не менее ощущают жертвы, требуемые от них культурой ради возможности совместной жизни, как гнетущий груз. Культура должна поэтому защищать себя от одиночек, и ее институты, учреждения и заповеди ставят себя на службу этой задаче; они имеют целью не только обеспечить известное распределение благ, но и постоянно поддерживать его, словом, должны защищать от враждебных побуждений людей все то, что служит покорению природы и производству благ.

Создания человека легко разрушимы, а наука и техника, построенные им, могут быть применены и для его уничтожения.

Так создается впечатление, что культура есть нечто навязанное противящемуся большинству меньшинством, которое ухитрилось завладеть средствами власти и насилия. Естественно, напрашивается предположение, что все проблемы коренятся не в самом существе культуры, а вызваны несовершенством ее форм, как они складывались до сего дня. Нетрудно обнаружить эти ее недостатки. Если в деле покорения природы человечество шло путем постоянного прогресса и вправе ожидать еще большего в будущем, то трудно констатировать аналогичный прогресс в деле упорядочения человеческих взаимоотношений, и, наверное, во все эпохи, как опять же и теперь, многие люди задавались вопросом, заслуживает ли вообще защиты эта часть приобретений культуры. Хочется думать, что должно же быть возможным какое-то переупорядочение человеческого общества, после которого иссякнут источники неудовлетворенности культурой, культура откажется от принуждения и от подавления влечений, так что люди без тягот душевного раздора смогут отдаться добыванию благ и наслаждению ими. Это был бы золотой век, спрашивается только, достижимо ли подобное состояние. Похоже, скорее, что всякая культура вынуждена строиться на принуждении и запрете влечений; неизвестно еще даже, будет ли после отмены принуждения большинство человеческих индивидов готово поддерживать ту интенсивность труда, которая необходима для получения прироста жизненных благ. Надо, по-моему, считаться с тем фактом, что у всех людей имеют место деструктивные, то есть антиобщественные и антикультурные, тенденции и что у большого числа лиц они достаточно сильны, чтобы определить собою их поведение в человеческом обществе.

Этому психологическому факту принадлежит определяющее значение при оценке человеческой культуры.

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ

Печатается по: Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного/Архетип и символ. – М.: Изд-во “Ренессанс”, 1991— С. 97 — 99, 121 — 123.

Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким понятием “бессознательного”. После того как философская идея бессознательного, которую разрабатывали преимущественно Г. Карус и Э. фон Гартман, не оставив заметного следа, пошла ко дну, захлестнутая волной моды на материализм и эмпиризм, эта идея по прошествии времени вновь стала появляться на поверхности, и прежде всего в медицинской психологии с естественнонаучной ориентацией. При этом на первых порах понятие “бессознательного” использовалось для обозначения только таких состояний, которые характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний. Хотя у Фрейда бессознательное выступает — по крайней мере метафорически — в качестве действующего субъекта, по сути оно остается не чем иным, как местом скопления именно вытесненных содержаний; и только поэтому за ним признается практическое

значение. Ясно, что с этой точки зрения бессознательное имеет исключительно личностную природу (в своих поздних работах Фрейд несколько изменил упомянутую здесь позицию: инстинктивную психику он назвал “Оно”, а его термин “сверх-Я” стал обозначать частью осознаваемое, частью бессознательное (вытесненное коллективное сознание), хотя, с другой стороны, уже Фрейд понимал архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления).

Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком, ведущем свое происхождение и приобретаемом уже не из личного опыта. Этот врожденный более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин “коллективное”, поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что оно включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые *cum grano salis* являются повсюду и у всех индивидов одними и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным.

Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствуют так или иначе осознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного бессознательного являются так называемые архетипы.

Выражение “архетип” встречается уже у филона Иудея (*De Opif. mundi*, 69) по отношению к *Imago Dei* в человеке. Также и у Иринея, где говорится: “*Mundi fabricator non a semetipso fecit haec, sed de aliens archetypis transtulit*” (“Творец мира не из самого себя создал это, он перенес из посторонних ему архетипов”). В *Corpus Hermeticum* Бог называется *t o a r c e t u n f w z* (изначальный свет.) У Дионисия Ареопагита это выражение употребляется часто, например, в *De Caelesti Hierarchia*. С. II, 4: *a t a n l a r c e t u p i a i* (первичная завеса), а также в *De Divinis Nominibus*.

... “Архетип” — это пояснительное описание платоновского *e t d o x*. Это наименование является верным и полезным для наших целей, поскольку оно значит, что, говоря о содержаниях коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать, изначальными типами, т. е. испокон веку наличными всеобщими образами. Без особых трудностей применимо к бессознательным содержаниям и выражение “*representations collectives*”, которое употреблялось Леви-Брюлем для обозначения символических фигур в первобытном мировоззрении. Речь идет практически все о том же самом: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. Правда, это уже не содержания бессознательного; Они успели приобрести осознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном в виде тайных учений, являющихся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном.

Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но и здесь речь идет о специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени. Понятие “Архетип” опосредованно относимо к *representations collectives*, в которых оно обозначает только ту часть психического содержания, которая еще не прошла какой-либо сознательной обработки и представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой существенно отличается от исторически ставших или переработанных форм. На высших уровнях тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на влияние сознательной их переработки в суждениях и оценках. Непосредственные проявления архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более индивидуальны, непонятны или наивны, нежели, скажем, мифы. По существу, архетип представляет то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает. (Для точности необходимо различать “архетип” и “архетипическое представление”. Архетип сам по себе является гипотетическим, недоступным созерцанию образом, наподобие того, что в биологии называется *pattern of behaviour*”).

То, что подразумевается под “архетипом”, проясняется через его соотнесение с мифом, тайным учением, сказкой...

... Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его в конечном счете берем? Формами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туманной древности, в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов. С какой бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае необходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем для примера слово “идея”. Оно восходит к платоновскому понятию *e t d o x*, а вечные идеи — первообразы; *k e n u r e g o u r a n i w t o r v* (занебесному месту), в котором пребывают трансцендентные формы. Они предстают перед нашими глазами как *images et lares* (“Изображения и лары”. Имеются в виду восковые изображения предков и лары — духи-хранители домашнего очага в Древнем Риме.) или как образы сновидений и откровений. Возьмем, например, понятие “энергия”, означающее физическое событие, и обнаружим, что ранее тем же самым был огонь алхимиков, флогистон — присущая самому веществу теплоносная сила, подобная стоическому первотеплу или гераклитовскому *p u g a e i z v o n* (вечно живому огню), стоящему уже совсем близко к первобытному воззрению, согласно которому во всем пребывает всеоживляющая сила, сила произрастания и магического исцеления, обычно называемая *mana*.

Не стоит нагромождать примеры. Достаточно знать, что нет ни одной существенной идеи либо воззрения без их исторических прообразов. Все они восходят в конечном счете к лежащим в основании архетипическим праформам, образы которых возникли в то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была объектом внутреннего восприятия, она не думалась, но обнаруживалась и своей явленности, так сказать, виделась и слышалась. Мысль была, ни существу, откровением, не чем-то искомым, а навязанным, убедительным в своей

непосредственной данности. Мышление предшествует первобытному “сознанию Я”, являясь скорее объектом, нежели субъектом. Последняя вершина сознательности еще не достигнута, и мы имеем дело с предсуществующим мышлением, которое, впрочем, никогда не обнаруживалось как нечто внутреннее, пока человек был защищен символами. На языке сновидений: пока не умер отец или король.

ХЕЙЗИНГА ЙОХАН

Хейзинга Й. Homo Ludens – М.: изд. группа “Прогресс”, 1992 — С.61- 63.

Под игровым элементом культуры здесь не подразумевается, что игры занимают важное место среди различных форм жизнедеятельности культуры. Не имеем мы в виду и того, что культура происходит из игры в результате процесса эволюции — в том смысле, что то, что первоначально было игрой, впоследствии переходит в нечто, игрой уже не являющееся, и что теперь может быть названо культурой. Ниже будет развернуто следующее положение: культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается. И те виды деятельности, что прямо направлены на удовлетворение жизненных потребностей, как, например, охота, в архаическом обществе предпочитают находить себе игровую форму. Человеческое общежитие поднимается до супрабиологических форм, придающих ему высшую ценность, посредством игр. В этих играх общество выражает свое понимание жизни и мира. Стало быть, не следует понимать дело таким образом, что игра мало-помалу перерастает или вдруг преобразуется в культуру, но скорее так, что культуре в ее начальных фазах свойственно нечто игровое, что представляется в формах и атмосфере игры. В этом двуединстве культуры и игры игра является первичным, объективно воспринимаемым, конкретно определенным фактом, в то время как культура есть всего лишь характеристика, которую наше историческое суждение привязывает к данному случаю. Это воззрение перекликается с мыслями Фробениуса, который говорит в своей книге “Kulturgeschichte Afrikas” (“История культуры Африки”) о становлении культуры “aus ernes aus dem naturlichen “Sein” ausgestiegenenSpieles” (“как выросшей из естественного бытия игры”). Тем не менее, как мне кажется, это отношение культуры к игре воспринято Фробениусом чересчур мистически и описано нередко слишком зыбко. Он манкирует необходимостью прямо указать пальцем на присутствие игрового элемента в фактах культуры. В поступательном движении культуры гипотетическое исходное соотношение игры и не-игры не остается неизменным. Игровой элемент в целом отступает по мере развития культуры на задний план. По большей части и в значительной мере он растворился, ассимилировался в сакральной сфере, кристаллизовался в учености и в поэзии, в правосознании, в формах политической жизни. При этом игровое качество в явлениях культуры уходило обычно из виду. Однако во все времена и всюду, в том числе и в формах высокоразвитой культуры, игровой инстинкт может вновь проявиться в полную силу, вовлекая как отдельную личность, так и массы в опьяняющий вихрь исполинской игры. Представляется очевидным, что взаимосвязь культуры и игры следует искать в высоких формах социальной игры, то есть там, где она бытует как упорядоченная деятельность группы, либо сообщества, либо двух противостоящих друг другу групп. С точки зрения культуры сольная игра для самого

себя плодотворна лишь в малой степени. Ранее мы уже показали, что все основополагающие факторы игры, в том числе игры коллективной, уже существовали в жизни животных. Это поединок, демонстрация (*vertoning*), вызов, похвальба, кичливость, притворство, ограничительные правила. Вдвойне удивительно при этом, что именно птицы, филогенетически столь далеко отстоящие от человеческого рода, имеют так много общего с человеком: тетерева исполняют танцы, вороны состязаются в полете, шалашники и другие птицы украшают свои гнезда, певчие птицы сочиняют мелодии. Состязание и представление, таким образом, не происходят из культуры как развлечение, а предшествуют культуре.

Среди общих признаков игры мы уже отметили выше напряжение и непредсказуемость. Всегда стоит вопрос: повезет ли, удастся ли выиграть? Даже в одиночной игре на ловкость, отгадывание или удачу (*пасьянс*, головоломка, кроссворд, *дьяболо*) соблюдается это условие. В антитетической игре агонального типа этот элемент напряжения, удачи, неуверенности, достигает крайней степени. Стремление выиграть приобретает такую страстность, которая грозит полностью свести на нет легкий и беспечный характер игры. Однако здесь выявляется еще одно важное различие. В чистой игре на удачу напряжение играющих передается зрителям лишь в малой степени. Азартные игры сами по себе суть примечательные культурные объекты, однако с точки зрения культуросозидания их надо признать непродуктивными. В них нет прока для духа или для жизни. Иначе обстоит дело, когда игра требует сноровки, знания, ловкости, смелости или силы. По мере того как игра становится труднее, напряжение зрителей возрастает. Уже шахматы захватывают окружающих, хотя это занятие остается бесплодным в отношении культуры и, кроме того, не содержит в себе видимых признаков красоты. Когда игра порождает (*levert*) красоту, то ценность этой игры для культуры тотчас же становится очевидной. Однако безусловно необходимой для становления культуры подобная эстетическая ценность не является. С равным успехом в ранг культуры игру могут возвести физические, интеллектуальные, моральные или духовные ценности. Чем более игра способна повышать интенсивность жизни индивидуума или группы, тем полнее растворяется (*orgaat*) она в культуре. Священный ритуал и праздничное состязание вот две постоянно и повсюду возобновляющиеся формы, внутри которых культура вы растет как игра и в игре.